



Вторресурс

СЕРГЕЙ РЖАВИН

Сергей Ржавин

Вторресурс

«Автор»

2026

Ржавин С.

Вторресурс / С. Ржавин — «Автор», 2026

В девяностые на завод «Вторресурс» по ночам свозили тех, кого некому было хоронить. Их не закапывали и не сжигали. Их клали под пресс вместе с мусором. Почти тридцать лет об этом молчали. Теперь полигон начали разрывать экскаваторы. И в обычной пятиэтажке напротив завода стали появляться вещи. Детская юла, которая крутится сама и возвращается, сколько её ни выбрасывай. Больничная капельница, из которой медленно капает что-то тёмное. Мокрый плоский манекен у кровати — каждую ночь чуть ближе. В пустой квартире кто-то всю ночь бьёт в дверь. Изнутри. В домовом чате ищут виноватого и косятся на тихого алкоголика с четвёртого этажа. Но те, кто приходит в подъезд по ночам, не ошибаются. Они смеются, танцуют, курят у мусоропровода — и машут в каждый глазок. Они помнят, кто подписывал бумаги. Кто вёл машину. Кто нажимал кнопку. И кто просто смотрел из окна.

© Ржавин С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
День первый. Вещи	9
День второй. Девятая квартира	24
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Сергей Ржавин

Вторресурс

Пролог

Сначала был холод. Не тот, что снаружи, а тот, что изнутри, когда тело забыло, что оно тело, и вспоминает об этом по кусочку: вот щека, она лежит на чём-то мокром; вот рука, она под чем-то тяжёлым; вот живот, и в животе пусто и кисло, как в банке из-под огурцов, которую забыли на подоконнике.

Потом пришёл запах.

Он лежал лицом в картоне. Картон размок и стал похож на хлеб, который долго мочили в луже, — мягкий, слоистый, с волокнами, которые липли к губам. От картона пахло прокисшим молоком, мокрой собачьей шерстью, хлоркой. И ещё чем-то сладким. Сладкое было хуже всего. Оно стояло в носу, как вата, и не уходило, сколько ни дыши ртом, а ртом дышать было нельзя, потому что рот был полон собственной слюны с привкусом железа.

Под ним тряслось. Тряслось ровно, с подскоками, и при каждом подскоке что-то лязгало совсем рядом, у самого уха, железо о железо, и тяжёлое, лежавшее у него на ногах, съезжало на сантиметр и возвращалось обратно. Тяжёлое было холодным. Холоднее, чем он сам. Сквозь штанину он чувствовал, что оно мягкое, но не так, как мягкий человек, а так, как мягкий мешок с крупой, который подмок с одного бока.

Он попытался вспомнить, где он.

Был вокзал, там было тепло у батареи. Была бутылка, которую передавали по кругу, и был парень в кожанке, который сказал: «Чё, дед, ещё хочешь?» — а ему было сорок три, какой он дед. Потом был переход, а в переходе — ботинки, много ботинок, они приближались и били, ботинки умеют бить очень точно, если ими долго учиться. Потом было ничего.

Теперь было вот это.

Он попробовал повернуть голову. В шее хрустнуло, как будто там сломался маленький пластмассовый замочек. В глазах вспыхнуло белым, и он понял, что глаза открыты, просто вокруг темно. Не совсем: над ним, высоко, тянулась серая полоса, и в ней иногда проскакивали жёлтые пятна. Фонари. Он лежит в кузове, кузов накрыт брезентом, брезент неплотно прилегает к борту, и в щель видно небо и фонари.

Мусоровоз. Он лежит в мусоровозе.

Это было даже не страшно. Это было глупо, как во сне, где ты пришёл в школу без штанов. Сейчас машина остановится, он вылезет, отряхнётся. Скажет: мужики, вы чего, я ж тут. Он даже усмехнулся в картон, и от этого в рёбрах что-то кольнуло так, что он перестал усмехаться.

Он хотел пошевелить рукой — той, что была под тяжёлым. Пальцы ответили, но вяло, как чужие. Они упёрлись во что-то гладкое и холодное, похожее на клеёнку. Он провёл по клеёнке вниз. Клеёнка кончилась, и под пальцами оказалось лицо. Нос. Губы. Губы были приоткрыты и сухие, как бумага, и между ними не шло никакого воздуха.

Он убрал руку.

Машина качнулась, сбросила скорость и пошла медленно, переваливаясь, по чему-то неровному. Хрустел под колёсами гравий. Сладкий запах стал гуще, к нему добавился запах мазута и сырой земли — так пахнет в канаве весной, когда снег сошёл, а вода ещё не ушла. Где-то справа заскрипели ворота, длинно, с подвыванием, будто их открывали впервые за много лет, хотя он почему-то понял: их открывают каждую ночь.

Машина встала. Мотор поработал ещё немного вхолостую и заглох.

Стало тихо, и в тишине он услышал своё сердце. Оно стучало не в груди, а в ушах, в висках, в разбитой брови. Тук. Тук. Как будто кто-то вежливо стучал изнутри и просил выпустить.

Хлопнула дверь кабины. Потом вторая.

— ...а я ему говорю: ты сначала смену закрой, потом про премию, — сказал мужской голос, спокойный, немного сиплый. — А он мне: Олежа, ты не понимаешь.

— Все не понимают, один он понимает, — ответил второй голос, постарше.

Шаги по гравию. Чиркнула зажигалка. Запахло табаком, дешёвым, с кислинкой, и этот запах человеческий, домашний, был такой неуместный, что у него защипало в глазах.

Он открыл рот, чтобы сказать: «Мужики».

Изо рта вышел пузырь. Он почувствовал, как пузырь надулся на губах, тёплый, с привкусом железа, и лопнул. Больше ничего не вышло. Голос куда-то делся. Там, где раньше был голос, теперь был сиплый влажный свист, и свист этот слышал только он сам.

— Генератор заводи, — сказал старший. — Свет не включай.

— Да знаю я.

Где-то в стороне загрохотало, закашляло железом, кашель перешёл в тарахтенье, тарахтенье выровнялось и стало гулом. Ровным, низким, тяжёлым, который не столько слышишь ушами, сколько чувствуешь зубами и животом. Гул шёл по земле, поднимался по колёсам машины, через борт кузова, через картон, через его щёку, и в щеке начинало зудеть.

Брезент откинули.

Небо оказалось не серым, а грязно-оранжевым от городских огней где-то далеко, и на его фоне чернела крыша цеха с выбитыми стёклами. Над ним наклонились. Он увидел силуэт головы в вязаной шапке, рукав телогрейки, огонёк сигареты.

Он моргнул. Он изо всех сил моргнул, потому что больше ничего не мог.

Силуэт не заметил. Силуэт протянул руку, взял его за щиколотку — рука была в брезентовой рукавице, жёсткой, как наждак, — и дёрнул.

Его потащило по мешкам. Лицо проехало по мокрому картону, по чему-то скользкому, по чьим-то волосам. Волосы были длинные, женские, слипшиеся, они намотались ему на пальцы, и он не смог их стряхнуть. Голова ударилась о край борта. Звук был деревянный, глупый, и ему стало очень обидно за свою голову. Потом не было опоры, и он упал на бетон плашмя, спиной, и из него вышибло весь воздух, и новый не входил, не входил, не входил — и вошёл, со свистом, с хрипом, со вкусом цементной пыли.

— Тяжёлый, зараза, — сказал тот, кого звали Олежей.

— Они все тяжёлые. Мёртвые тяжелее, чем живые, это все знают.

— Почему?

— Потому что не помогают.

Они засмеялись. Не зло. Устало. Так смеются люди в конце длинной смены.

Его снова взяли за ноги и потащили. Спина скребла по бетону, рубашка задралась, бетон сдирал кожу с лопаток, и он чувствовал это очень ясно, лучше, чем всё остальное, — горячую полосу боли вдоль позвоночника. Над ним проплывали балки, провода, на проводах висели клочья полиэтилена и шевелились, хотя ветра не было. Гул становился громче. Теперь он шёл отовсюду: от стен, от пола, от его собственных костей.

Запах изменился. Сладкое стало густым, как сироп. В нём появилось тёплое — пар, влажный, тухлый, как из кастрюли, где неделю простоял суп. Пар шёл откуда-то сбоку, из трубы, и оседал на лице капельками.

Его перевалили через край. Он полетел вниз — недолго, с полметра — и упал на мягкое.

Мягкое под ним шевельнулось, просело и выпустило из себя воздух с долгим мокрым звуком.

Он лежал на мешках. На тюках, перетянутых проволокой. На тряпках. На людях. Под его плечом было чьё-то плечо, под спиной — чей-то живот, большой и вздутый, и живот этот был

тёплый, нехорошо тёплый, изнутри, как компост. Под головой хрустел пластик. Он повернул голову и увидел рядом, в десяти сантиметрах, лицо старухи. Глаза её были закрыты. На лбу у неё была наклеена бумажка, жёлтая, с какими-то цифрами, написанными шариковой ручкой. Бумажка отклеилась с одного угла и мелко дрожала от гула.

Над ним были стены. Стальные, высокие, в бурых потёках. Он лежал на дне железного ящика. Сверху, очень высоко, темнело что-то плоское, огромное, с рёбрами жёсткости, похожее на перевёрнутый стол. Оно висело неподвижно.

Сбоку, за краем ящика, в будке за мутным стеклом, горела жёлтая лампа. Под лампой стоял человек. Его было видно по пояс: белая рубашка с закатанными рукавами, очки в тонкой оправе, аккуратный пробор. Человек вытирал руки тряпкой. Он вытирал их долго и тщательно, каждый палец по отдельности, как хирург, как пианист, как человек, который очень не любит грязь. Потом сложил тряпку вчетверо и положил рядом с собой на пульт.

Он смотрел на этого человека снизу, из ящика, и думал: вот этот увидит. Этот в очках. У этого чистые руки, значит, и глаза чистые, он посмотрит вниз и увидит, что я моргаю.

Он моргал. Он моргал так часто, как только мог, пока в глазах не начало резать.

Человек в очках посмотрел на часы. Потом поправил очки указательным пальцем.

Сверху посыпались мешки. Один упал ему на ноги, другой на грудь, третий рядом, лопнул, и из него вывалилось что-то склизкое, картофельные очистки, яичная скорлупа, комок волос, и всё это легло ему на шею, на подбородок, холодное и мокрое. Ещё мешок. Ещё. Свет из будки заслонило, осталась только узкая жёлтая полоска сбоку, и в ней кружилась пыль.

И тогда он услышал шипение.

Оно было тихое, почти ласковое. Так шипит змея в зоопарке, когда стучишь по стеклу. Так выходит воздух из проколотой шины. Ш-ш-ш-ш. Шипение шло сверху, с той огромной плоской штуки, и оно не прекращалось, оно было ровным, как дыхание спящего.

Плоское дрогнуло.

Сначала ничего не изменилось. Потом мешок на груди стал тяжелее. Совсем чуть-чуть. Как будто на него положили ещё книгу. Потом ещё одну. Он выдохнул и не смог вдохнуть до конца — воздуха вошло меньше, чем вышло. Он выдохнул снова. Вошло ещё меньше.

Ш-ш-ш-ш.

Слева от него хрустнуло. Негромко, как будто кто-то наступил на ветку в лесу. Потом справа. Потом под ним — и это хрустело уже не дерево и не пластик, это хрустело чьё-то, и тот, под ним, кому принадлежал тёплый живот, вдруг издал звук: длинный, тонкий, как из резиновой игрушки, когда её сжимают. Воздух выходил из мёртвого тела, и это было похоже на писк.

Или не из мёртвого.

Он не успел об этом подумать, потому что в этот момент кто-то взял его за руку.

Справа, из-под мешков, из темноты, из мокрой каши мусора, высунулись пальцы и нашли его пальцы. Пальцы были холодные, очень холодные, костлявые, с длинными ногтями. Они ошупали его ладонь — быстро, торопливо, как ищут выключатель в темноте, — нашли, обхватили и сжали.

Сжали сильно.

Это была не судорога. Мёртвые не ищут. Мёртвые не сжимают ладонь, а потом не ослабляют хватку и не сжимают снова, чуть-чуть, будто говорят: я тут. Ты тоже тут? Я тут.

Он сжал в ответ.

Ш-ш-ш-ш.

Мешок на груди прижал его к тому, что было снизу, и снизу тоже прижалось. Рёбра выгнулись. Он почувствовал их все, по одному, каждое, как клавиши, — и нижнее слева щёлкнуло и ушло внутрь, мягко, почти без боли, только с ощущением, что внутри освободилось место. Потом второе. Голову повернуло набок, щекой в чужие волосы. Колени поднялись к

животу, хотя он их не поднимал. Плечо вдавилось в шею. Он стал меньше. Он становился меньше, и всё вокруг тоже, и все вокруг тоже, и в жёлтой полоске света по-прежнему кружилась пыль.

Рука справа сжимала его пальцы. Он сжимал её. Это было единственное, что он ещё мог делать, и он делал это изо всех сил, хотя сил уже не было, и в ушах был только гул, только гул и шипение, и стук сердца, которое стучало всё быстрее, торопливо, вежливо, изнутри, будто просило: выпустите, выпустите, тут же люди, тут живые, посмотрите вниз.

Человек в будке не смотрел вниз. Он смотрел на часы.

Шипение оборвалось.

На секунду стало совсем тихо. Только гул. Только пыль в полоске света. Только чужие холодные пальцы в ладони, которые сжали его ещё раз, последний, очень крепко.

Потом ударила плита.

День первый. Вещи

Запах в ванной не выводился.

Ира перепробовала всё. «Белизну», от которой першило в горле и слезились глаза. Лимонную кислоту. Соду с уксусом, пузырившуюся в сливе, как газировка. Какой-то дорогой гель из строительного магазина с нарисованной на этикетке ромашкой, которая улыбалась нарисованным ртом. Макс снимал сифон под раковиной и вытряхивал из него в ведро серую слизь с волосами — волосами не их, длинными, тёмными, крашеными, у Иры были светлые, у Макса короткие. Мастер из управляющей компании приходил, светил фонариком в вентиляционную решётку, говорил «ну тянет вроде», совал туда зажжённую спичку, спичка гасла, он говорил «ну вот, тянет», и уходил.

Запах оставался.

Он был не сильный. Его можно было не замечать, если не принимать, если быстро почистить зубы и выйти. Но если задержаться — если, например, сесть на край ванны и подождать, пока наберётся вода, — он проступал. Как проступает пятно на потолке после того, как соседи сверху залили: сначала только серая тень, а через неделю уже бурая карта неизвестной страны. Пахло сладко. Не цветами и не кондитерской, а так, как пахнет пакет с мусором, который забыли вынести в жару, когда его открываешь на третий день. Сверху — сладко, а под сладким — что-то влажное, тёплое и слежавшееся, как бумага на дне коробки, в которую протекло.

— Это стояк, — сказал Макс в первую неделю. — Дом старый, стояк чугунный, там за сорок лет такогоросло, что вообще. Поменяем — и всё.

Стояк поменяли в мае. Запах остался.

— Это плитка, — сказал Макс. — Под плиткой грибок. Снимем плитку.

Плитку пока не сняли. Денег после ипотеки не было на плитку. Денег вообще не было, они жили на Максову зарплату и Ирины фрилансовые переводы, которые приходили с задержкой в месяц, а иногда не приходили вовсе, и в эти месяцы они ели гречку и шутили, что у них диета.

Ира открыла кран. Вода сначала шла рыжая, потом светлела. Она умылась и подняла голову к зеркалу.

Зеркало было старое, досталось от прежней хозяйки вместе со шкафчиком: в металлической раме, с облезшей по краю амальгамой, отчего казалось, что из-за стекла, из глубины, по краям подступает какая-то серая плесень. Ира каждый раз собиралась его поменять и каждый раз забывала. Из зеркала на неё смотрела женщина тридцати лет с мокрой чёлкой и синяками под глазами — плохо спала. Вторую неделю плохо спала.

Она вышла из ванной и закрыла дверь, и запах остался там, за дверью, как собака, которой велели сидеть.

На кухне Макс стоял у окна с кружкой и смотрел вниз, во двор.

— Опять роют, — сказал он.

Ира подошла. Их окна выходили на зады: за двором, за гаражами, за полоской чахлах берёз начинался пустырь, а за пустырьём — серые корпуса с выбитыми окнами. Над ними торчала кирпичная труба, давно не дымившая. По трубе шли буквы, белые, облупленные, их было видно издали, если знать, что там написано: «ВТОРРЕСУРС». Последняя «С» осыпалась, и издали получалось «ВТОРРЕСУР», как будто слово оборвали на середине.

Дальше, за заводом, был полигон. Его отсюда не было видно, только край — бурый холм, поросший бурьяном, похожий на спину огромного больного животного. Месяц назад на холм заехала техника. Жёлтые экскаваторы, два бульдозера, вагончик для рабочих. Нина Степановна из первой квартиры сказала, что там будут строить торговый центр, а Гульнара из второй

— что жилой комплекс, а дядя Толя из восьмой — что ничего там строить не будут, а просто деньги отмывают, как всегда. Экскаваторы работали с семи утра. Отсюда, с пятого этажа, их было слышно: далёкий низкий рёв, лязг ковша, иногда — короткий визг металла, как будто ковш задевал что-то, чего не ожидал задеть.

И ещё, когда ветер дул с той стороны, в форточку тянуло.

Ира дёрнула носом. Да. Сейчас тоже тянуло. Тот же сладкий запах, что и в ванной, только слабее, разбавленный утренним воздухом, мокрой травой, бензином. Как будто там, за заводом, кто-то открыл огромный пакет с мусором, который пролежал закрытым много лет.

— Закрой, — попросила она.

Макс закрыл форточку. Запах остался в кухне, повисел и медленно растворился.

— Ладно, я погнал. — Он поставил кружку в раковину, поцеловал её куда-то в висок, мимо. — Вечером, может, задержусь, у нас эти приедут. Не скучай. Не сиди за компом до ночи.

— Ага.

Хлопнула входная дверь. Ира слышала, как Макс сбегает по лестнице — лифт он не любил и не доверял ему, — как стучат его шаги, удаляясь, четвёртый, третий, второй, как бухает внизу тяжёлая подъездная дверь с доводчиком, который не доводил.

Потом стало тихо.

Не совсем тихо. Дом звучал. У каждого дома есть свой звук, и у этого он был такой: за стеной, в девятнадцатой, цокала когтями по линолеуму Тамарина собака, старая колли, у которой болели лапы. Снизу, из четырнадцатой, бубнил телевизор — Витёк смотрел что-то, где много кричали. Где-то в трубах журчало. Лифт в шахте, за стеной прихожей, иногда сам по себе вздыхал, скрипел тросами, как старик ворочается во сне. Батарея под окном пощёлкивала — отопления ещё не дали, сентябрь, но батарея всё равно пощёлкивала, остывая или нагреваясь, кто её знает.

Ира заварила чай и пошла к почтовым ящикам — вчера забыла забрать.

Подъезд был такой, какие бывают во всех пятиэтажках, построенных в семидесятых: стены до половины выкрашены в зелёную краску, густую, масляную, похожую на старый бутылочный цвет, а выше — побелка, серая, в разводах. Краску клали много раз, слоями, и в некоторых местах она отслаивалась пузырями, и если надавить на такой пузырь пальцем, он проминался мягко, как волдырь, и внутри что-то хрустело. Лампочки горели через одну: на пятом горела, на четвёртом нет, на третьем горела, но мигала, на втором нет. Мусоропровод на межэтажной площадке — железный ковш на трубе, с ручкой, обмотанной синей изолентой. Из ковша всегда немного пахло, но это был нормальный запах, бытовой, картофельные очистки и кошачий наполнитель. Не тот.

На почтовых ящиках внизу кто-то давно выцарапал ключом: «ЛЕНКА ДУРА». Ленки в доме никакой не было, Ира спрашивала.

В ящике восемнадцатой квартиры лежали две рекламные газеты, квитанция за свет и конверт.

Конверт был на имя Дёминой Л. В.

Ира повертела его. Прежняя хозяйка. Вернее, не хозяйка — квартиру им продавал сын какой-то старушки, которая умерла в доме престарелых, а до этого квартиру много лет снимала женщина. Лариса Витальевна Дёмина. Ира знала её имя только потому, что на её имя постоянно приходили письма. Из налоговой, из поликлиники, из какого-то фонда. Ира складывала их стопкой на полке в прихожей, собираясь когда-нибудь отнести на почту с пометкой «адресат выбыл», и не относила.

Этот конверт был без обратного адреса. Белый, мятый, немного влажный, как будто долго лежал в сыром месте. Почерк на нём был крупный, неровный, буквы заваливались вправо, как пьяные. «Дёминой Ларисе Витальевне. Заводская 14 кв 18». И ниже, мельче, как приписка: «Лично».

Ира поднесла конверт к лицу, сама не зная зачем.

От конверта пахло ванной.

Она почти бросила его. Почти. Потом взяла себя в руки — ну что за глупость, бумага отсырела, лежала в ящике, а в подъезде сыро, — и сунула его в карман халата, к квитанции. Поднимаясь по лестнице, она чувствовала его там, на бедре: прямоугольник, чуть прохладный, чуть влажный, сквозь ткань.

На четвёртом этаже, на площадке, стоял Аркадий Львович из шестнадцатой. Он запирает дверь — аккуратно, двумя ключами, сверху и снизу, — и, услышав её шаги, обернулся.

— Доброе утро, Ирина, — сказал он и чуть наклонил голову.

Он всегда так здоровался. По имени, полностью. Ира, когда они только въехали, удивлялась: откуда он знает, как её зовут? Потом поняла, что Нина Степановна рассказала всем всё в первый же день. Аркадий Львович был невысокий, сухой, с аккуратным седым пробором, в тонких очках, в светлой рубашке, застёгнутой на все пуговицы, даже на верхнюю. От него пахло одеколоном, старомодным, с горчинкой. Он был похож на учителя музыки или на бухгалтера из старого фильма. Ира его про себя звала «последний интеллигент».

— Доброе утро, — ответила она.

— Слышите? — Он кивнул в сторону лестничного окна. За окном, за двором, за гаражами, далеко, ревел экскаватор. — Копают.

— Да. Говорят, торговый центр будет.

— Говорят. — Аркадий Львович посмотрел в окно. Он смотрел долго, дольше, чем смотрят просто так, и Ира заметила, что он, не глядя, достал из кармана платок и вытирает им руки. Сначала одну, потом другую. Каждый палец. — Говорят много чего. Хорошего дня, Ирина.

Он пошёл вниз. Ира поднялась к себе.

Конверт она положила на полку в прихожей, поверх остальных. Он лёг неровно, и она поправила его, и пальцы остались влажными. Она долго мыла руки на кухне, а не в ванной, и потом не могла понять, почему не в ванной.

* * *

Даня ел хлопья, и хлопья шуршали у него во рту, и молоко капало с ложки на клеёнку.

— Не капай, — сказала Света машинально.

Он капнул ещё. Ему было семь, он пошёл в первый класс, и вместе с первым классом у него открылась новая способность — не слышать. Света говорила, а он не слышал. Не потому, что упрямылся, а потому, что у него в голове как будто был свой телевизор, и по нему шло что-то интересное, а мамин голос был где-то сбоку, как радио на соседской кухне.

Кухня у них была маленькая, шесть метров, как у всех в этом доме. Холодильник «Атлант» тархтел и вздрагивал. На подоконнике стояли кактусы, которые Даня поливал из бутылки с дырочками в крышке, слишком часто, и кактусы от этого желтели и размякали. Над столом висел календарь с котятами, прошлогодний. Света не меняла его, потому что котята были хорошие.

Она стояла у плиты и жарила сырники, ей надо было через сорок минут быть в аптеке, где она работала провизором, а Даню ещё отвести в школу, а Даня ел хлопья со скоростью улитки и смотрел в одну точку.

В точку на столе.

— Дань. Ешь.

— Мам, — сказал Даня, — а это чьё?

Света обернулась.

На столе, рядом с его тарелкой, между сахарницей и пакетом молока, крутилась юла.

Она была старая. Это было видно сразу — такие делали давно, ещё когда Света сама была маленькой, а может, и раньше. Жестяная, круглая, похожая на два приплюснутых конуса, сложенных вместе, с ручкой-винтом сверху, которую надо было качать, чтобы юла закрутилась.

Краска на ней облезла, жёсть проступала серая, с рыжими пятнами ржавчины, но кое-где ещё держались картинки — зайцы. Выцветшие, когда-то, наверное, розовые и голубые, а теперь серо-бурые, как бы подгнившие. Зайцы взялись за лапы и водили хоровод вокруг юлы, и когда юла крутилась, хоровод сливался в одно мутное кольцо.

Юла крутилась ровно. Не виляла, не заваливалась, как заваливаются юлы, когда теряют скорость. Стояла на кончике, как вкопанная, и крутилась, и жужжала.

Жужжание было сухое. Не металлическое, не звонкое — сухое, как будто внутри юлы перекачивался песок. Ж-ж-ж-ж-ж. Ровное. Без перепадов.

— Это ты где взял? — спросила Света.

— Я не брал. Она была.

— Как была?

— Ну была. Я сел, а она крутится.

Света выключила плиту. Сырник на сковороде продолжал шкворчать.

— Дань, не ври. Ты у кого-то взял в школе?

— Я не вру! — Даня обиделся. Он умел обижаться мгновенно и полностью, всем лицом.
— Это не моя! Я такую вообще не видел никогда!

Света вытерла руки о полотенце и подошла к столу.

Юла крутилась. Хоровод мутных зайцев сливался в кольцо. От неё — Свете показалось — шёл слабый ветерок, как от вентилятора, и в этом ветерке был запах. Сырой. Как в погребе у бабушки в деревне, куда Света лазила за картошкой: темнота, холод, земляные стены, на которых проступали капли, и белые картофельные ростки, которые тянулись в темноте к щели под дверью, длинные, слепые, похожие на червей.

Она протянула руку и накрыла юлу ладонью.

Юла остановилась. Не сразу — сначала она толкнулась в ладонь, упруго, как толкается в руку кошка, которую гладят. Потом замерла. Но не совсем. Под ладонью она продолжала дрожать. Мелко, часто, как дрожит телефон на беззвучном режиме. Как дрожит живот у собаки, когда она во сне кого-то догоняет. И жёсть была тёплая. Не горячая от трения, а тёплая — живым теплом, тем, какое бывает у кожи.

Света держала руку. Держала, и вибрация шла через ладонь в запястье, в локоть, и у неё начали неметь пальцы — так немеют, когда долго держишь перфоратор. И к запаху земли теперь добавилось что-то ещё. Сладковатое. Тонкое, как будто под землёй, в погребе, в дальнем углу что-то лежало и медленно портилось.

Она отдернула руку.

Юла постояла неподвижно секунду, наклонившись набок, как будто прислушиваясь.

Потом выпрямилась — сама, без толчка, без качания ручки — и начала крутиться. Сначала медленно, так, что видно было зайцев, каждого, их стёртые морды, их лапы, сцепленные в хоровод. Потом быстрее. Быстрее. Зайцы слились в кольцо. Жужжание набрало ту же ноту, ровную, сухую.

На том же самом месте. Ровно на том же, Света могла поклясться: на клеёнке остался крошечный след, точка, протёртая кончиком юлы, — и юла стояла в этой точке.

Даня смотрел на мать.

— Видишь, — сказал он, — она сама.

Света взяла юлу двумя пальцами за ручку-винт и подняла. Юла жужжала в воздухе, вращаясь вокруг своей оси, и от неё во все стороны отлетали капельки — Света только сейчас поняла, что юла влажная. Капельки попадали ей на запястье, на щёку. Холодные. Пахнущие землёй.

Она вышла на лестницу в тапочках, держа юлу на вытянутой руке, как держат дохлую мышь.

Мусоропровод был на межэтажной площадке, между вторым и третьим. Света поднялась на полпролёта, откинула ковш. Из трубы дохнуло привычным — картофельными очистками, кошачьим лотком. Она бросила юлу в ковш и захлопнула его.

Юла загрохотала по трубе вниз. Бам, бам, бам, о стенки, всё тише.

И жужжала.

Света стояла, держась за ручку ковша, обмотанную синей изолентой, и слушала. Грохот стих — юла упала в бак внизу, в мусорную камеру. А жужжание осталось. Тихое, далёкое, из трубы, снизу. Ровное. Ж-ж-ж-ж-ж. Как будто юла там, в баке, среди пакетов и объедков, стояла на кончике и крутилась.

Она слушала, наверное, минуту. Жужжание не стихало. Не замедлялось. Ровное, сухое.

Потом снизу хлопнула подъездная дверь, кто-то зашёл, зашаркал, — и звук пропал за этим шарканьем. Света выдохнула. Отпустила ручку. На ладони отпечатались изолента, синяя, липкая.

Она вернулась в квартиру и закрыла дверь на два оборота.

Даня сидел над тарелкой. Ложка лежала на клеёнке, и молоко с неё натекло лужицей.

— Ешь давай, — сказала Света. — Опаздываем.

Даня не ответил. Он смотрел на стол.

Света посмотрела туда же.

Между сахарницей и пакетом молока, в протёртой точке на клеёнке, крутилась юла.

Хоровод мутных зайцев. Сухое ровное жужжание. И от неё, по клеёнке, медленно ползала мокрая тёмная клякса, как будто юлу только что вынули из земли.

Света не закричала. Она очень хорошо помнила потом, что не закричала, потому что Даня смотрел. Она просто стояла и смотрела, как крутится юла, и сырник на сковородке за её спиной остывал, покрываясь белёсой плёнкой жира. Холодильник вздрогнул и перестал тарыхтеть.

И в тишине, без холодильника, жужжание стало громче.

— Мам, — сказал Даня шёпотом. — Она хочет, чтобы с ней поиграли.

— Не трогай, — сказала Света. И потом громче, так, что Даня вздрогнул: — Не трогай её! Слышишь? Не трогай!

Она взяла его за руку, рывком подняла со стула, стащила в прихожую, натянула куртку прямо на пижамную футболку, ботинки на босу ногу. Схватила свою сумку. На пороге обернулась.

Из кухни, ровное, сухое, доносилось: ж-ж-ж-ж-ж.

Она захлопнула дверь. Звук остался за дверью. Она слышала его, пока спускалась. И ещё на улице, на крыльце, ей казалось, что она слышит его. Хотя это, конечно, был просто экскаватор вдалеке, на полигоне, ровный рёв, ровный, сухой.

* * *

У Зои Петровны в кладовке пахло сыростью, нафталином и прошлым годом.

Кладовка была узкая, в конце коридора, без окна, с лампочкой на шнуре, которую надо было дёргать. Там стояли банки — с огурцами, с лечо, с вареньем из чёрной смородины, которое Зоя Петровна варила по привычке каждый август, хотя есть его было некому. Полки до потолка, крашенные белой масляной краской, уже пожелтевшей. Внизу — мешок с сахаром, ящик с инструментами покойного мужа, которыми она никогда не пользовалась, старые сапоги. Наверху — коробки с документами, с открытками, с фотографиями, которые она не пересматривала.

Она пришла за банкой лечо.

Дёрнула шнур. Лампочка загорелась тускло, жёлто, качнулась и закачалась, и тени на полках закачались вместе с ней.

Кап.

Зоя Петровна замерла с поднятой рукой.

Звук был очень тихий. Его можно было не услышать. Но она его узнала бы где угодно, этот звук, — она слушала его тридцать два года. Звук капли, которая падает не в воду, а на твёрдое. На линолеум. Звук, который бывает, когда в палате плохо закрепили систему, и раствор капает мимо, на пол, и надо идти и ругать молоденькую сестру, которая не умеет ставить капельницы.

Кап.

Она опустила руку. Медленно повернулась.

В углу кладовки, между полками и стеной, там, где раньше стояла гладильная доска, стояла стойка для капельницы.

Белая эмаль, облупленная до чёрного металла на сгибах. Пять ножек на колёсиках, одно колёсико треснуло. Крючки наверху, загнутые, как вопросительные знаки. Она стояла прямо, как часовой, и почти упиралась крючками в потолок кладовки, хотя кладовка была высокая, а стойки обычно ниже. На верхнем крючке висел пакет.

Пакет был полный. Полиэтиленовый, мутный, такой, какие были давно, ещё до того, как появились нормальные, с маркировкой. Внутри — жидкость. Не прозрачная, как физраствор, и не жёлтая, как глюкоза. Тёмная. Мутно-бурая, как вода в луже, где долго лежали листья. В ней плавали хлопья. Белёсые, рыхлые, как творожистые сгустки в прокисшем молоке. Они медленно поднимались и опускались, хотя пакет не двигался, — поднимались и опускались, как будто внутри пакета кто-то медленно, глубоко дышал.

От пакета шла трубка. Прозрачная, пожелтевшая. По трубке шла та же бурая жидкость, рывками, с пузырями. В середине трубки — капельница, прозрачная камера, и в камере собиралась капля, набухала, тяжелела, отрывалась.

Кап.

Трубка спускалась вниз и кончалась иглой. Игла не была ни во что воткнута. Она просто висела в воздухе, в десяти сантиметрах над полом, покачиваясь, и с её кончика срывалась капля. Под иглой на линолеуме растеклась лужица. Небольшая. С ладонь. Бурая, с белыми хлопьями по краям, как пеной.

Пахло палатой.

Зоя Петровна узнала этот запах раньше, чем поняла, что узнала. Запах палаты номер шесть на третьем этаже терапии, где лежали лежачие. Застарелая моча, которая въелась в матрасы так, что её не брала никакая хлорка. Хлорка, которой мыли полы два раза в день. Протухший бульон в эмалированных мисках, который никто не съел. Пролежни. У пролежней свой запах, его ни с чем не спутаешь — сладкий, тяжёлый, как от гниющих яблок в ящике. И ещё лекарства, и пот, и старость. И страх. У страха тоже есть запах, особенно ночью, когда кто-то в палате начинает хрипеть, и все остальные лежат и слушают, и не зовут сестру, потому что знают: всё равно не придёт.

Зоя Петровна подошла ближе. Ей не хотелось подходить. Ноги подошли сами.

На средней ножке стойки, внизу, у колёсиков, была выбита надпись. Она знала, что там будет, ещё до того, как наклонилась. Она наклонилась. Колени хрустнули.

«ГБ № 1. Терап. отд. Инв. 0417».

Городская больница номер один. Терапевтическое отделение. Её отделение. Она была там старшей медсестрой шестнадцать лет, с восемьдесят девятого по две тысячи пятый, и она знала эти стойки. Их было двадцать три штуки на всё отделение, и все с инвентарными номерами, и раз в год она лично их пересчитывала по ведомости. Номер 0417 — она не помнила этот номер. Конечно, не помнила. Как можно помнить номер стойки.

Она помнила.

0417 стояла в шестой палате. У кровати у окна.

Кап.

Капля упала в лужицу, и Зоя Петровна вздрогнула всем телом, как от удара.

Она смотрела на лужицу. Лужица расплзалась. Медленно, по сантиметру, по линолеуму, к её тапочкам. Тапочки были войлочные, клетчатые, с помпонами, подарок соседки на восьмое марта. Край лужицы дополз до помпона. Помпон начал темнеть, впитывая бурое.

Она отступила. Сделала шаг назад, к двери. Потом ещё один. Подошва тапочка прилипла к полу и отлипла с влажным причмокиванием. Она посмотрела вниз: лужица была липкая, как сироп, как пролитый компот, который не вытерли и он засох.

Зоя Петровна вышла из кладовки. Дёрнула шнур — свет погас. Закрыла дверь. Задвинула шпингалет, который не задвигала никогда, он был там просто так, от мужа.

И осталась стоять в коридоре.

Она стояла долго. Коридор был тёмный, только из кухни падала полоса света. На вешалке висело её пальто, и в темноте оно было похоже на человека, который стоит спиной и не оборачивается. Часы на кухне тикали. Холодильник гудел. Где-то за стеной, в первой квартире, Нина Степановна громко говорила по телефону, слов было не разобрать, только интонации — возмущённые, напористые.

А из-за двери кладовки, тихо, ровно, с интервалом, который она могла бы отсчитывать по пульсу:

Кап.

Кап.

Кап.

Она считала. Это было профессиональное, от этого невозможно избавиться. Двадцать капель в минуту. Скорость инфузии для пожилого пациента с сердечной недостаточностью. Она сама так ставила. Она сама учила девочек: стариков не гоните, двадцать капель, не больше, иначе сердце не выдержит.

Кап.

Зоя Петровна прошла на кухню, села на табуретку и положила руки на стол. Руки были старые, в пигментных пятнах, с припухшими суставами. Руки, которые поставили, наверное, сто тысяч капельниц. И подписали — сколько бумаг? Она не помнила. Тоже не помнила.

На подоконнике лежал телефон. Он завибрировал. Потом ещё раз. Потом ещё. Чат дома. Она взяла телефон, надела очки, которые висели на шнурке на шее.

Дом Заводская 14 (1 подъезд)

Света 7[09:14]

Извините что пишу. У когонибудь было что в квартире появились чужие вещи???? Утром у нас на кухне. Детская игрушка. Старая. Я выбросила она вернулась

Света 7[09:14]

Я не шучу

Нина Степановна кв1[09:21]

Светлана, поясните. Какая игрушка. Кто имеет доступ в вашу квартиру? У кого ещё ключи? Бывший муж?

Света 7[09:22]

никто. Ключи только у меня. Юла старая жестяная. Я её в мусоропровод бросила, вернулась я в квартиру а она на столе. КРУТИТСЯ

Толя 8[09:30]

Светик ты не переутомилась? Может Данька подсунул обратно

Света 7[09:31]

он со мной в прихожей был. Я не переутомилась

Гульнара кв2[09:40]

У меня тоже!!! Не знала писать или нет. Утром в прихожей стоит ботинок. Один мужской старый, мокрый весь как из лужи. Рустам говорит не его. У нас 38 и 42 размер а этот огромный

Гульнара кв2[09:41]

[фотография]

Нина Степановна кв1[09:43]

Так. Это уже не смешно. Всех прошу проверить квартиры и доложить в чат. Если были посторонние, надо вызывать участкового. У кого ещё что?

Зоя Петровна посмотрела на фото. Ботинок стоял на коврике в прихожей Гульнары, на фоне обоев в мелкий цветочек. Ботинок был огромный, чёрный, кожаный, сношенный набок, со стоптанным каблуком. Он был сплюснен. Не смят, а именно сплюснен — плоский, как будто его положили в книгу и долго держали под прессом, как гербарий. Шнурки вдавлены в кожу. Из-под ботинка по коврику расползлось тёмное.

Она смотрела на это фото очень долго.

Потом напечатала. Палец немного дрожал, поэтому она печатала медленно, по одной букве, как всегда.

Зоя Петровна[09:52]

У меня ничего.

Отправила. Положила телефон экраном вниз.

Из коридора, из-за двери с задвинутым шпингалетом, тихо, ровно, двадцать в минуту:

Кап.

* * *

Олег проснулся оттого, что в комнате было холодно.

Он работал охранником на складе стройматериалов, сутки через трое, и в такие утра после смены спал как убитый, без снов, до обеда. Будильник не ставил. Шторы задёргивал наглухо. Квартира у него была однушка, на третьем этаже, в двенадцатой, окнами во двор. Он жил один уже девять лет, с тех пор как ушла жена, и привык к одиночеству так, как привыкают к больному зубу: вроде не мешает, но язык всё время туда тянется.

Холодно было неправильно. Не так, как бывает, когда открыта форточка, — когда сквозит, и холод приходит волнами, и пахнет улицей. Холод стоял. Он был плотный, как в погребе или в холодильной камере, и шёл откуда-то снизу, с пола, поднимался по краю кровати, просачивался под одеяло.

И пахло.

Олег лежал с закрытыми глазами и нюхал. Сначала он подумал: что-то протухло. Мясо в холодильнике, может, отключили свет. Потом подумал: мышь сдохла под полом, бывает. Потом перестал думать, потому что узнал.

Сладкая гниль. Не та, что от мяса, — та резкая, кислая, бьёт в нос. А эта была густая, мягкая, обволакивающая. Как будто воздух стал тёплым киселём, хотя он был холодный. Как будто кто-то налил в комнату сироп из перезревших фруктов, и мокрого картона, и чего-то ещё, чему не надо давать названия. Он нюхал этот запах каждую ночь, четыре года подряд, с девяносто седьмого по двухтысячный. Он думал, что забыл его. Он даже был уверен, что забыл.

Олег открыл глаза.

В комнате было темно — шторы. Только по краю, где шторы не сходились, просачивалась полоска серого света и ложилась на пол косой линией.

Поперёк этой линии, на полу, у самой кровати, лежало что-то белое.

Он смотрел на него. Глаза привыкали к темноте медленно, и белое постепенно обретало форму. Длинное. Как человек. Руки. Ноги. Голова, повернутая набок, к стене. Лежит на спине, в метре от кровати, прямо на ковре, и полоса света пересекает его поперёк груди.

Олег сел. Пружины кровати скрипнули. Белое не шевельнулось.

Он протянул руку к выключателю ночника — промахнулся, нашарил, щёлкнул.

Манекен.

Он выдохнул. Он просто выдохнул и почувствовал, что весь мокрый, футболка прилипла к спине. Манекен. Магазиновый, пластиковый, какие стоят в витринах. Просто манекен. Какой-то идиот...

Потом он присмотрелся, и выдох застрял у него в груди.

Манекен был плоским.

Не тонким, как бывают тонкими модные манекены для узких джинсов, — плоским. Как будто его положили под что-то тяжёлое и давили, пока он не стал в толщину сантиметров пятнадцать. Грудь у него была вдавлена внутрь, не выпуклая, а впалая, корытом. Плечи сведены вперёд и вниз, как будто он ёжился от холода. Руки лежали вдоль тела, но суставы — локти, запястья — были выгнуты не наружу, а внутрь, в обратную сторону, и от этого руки казались переломанными, как у куклы, которую сломал злой ребёнок. Колени тоже вогнуты. Ступни вывернуты носками друг к другу.

И на поверхности — на пластике, белом с желтизной, как старые зубы, — были вмятины. Не случайные, не царапины, а чёткие отпечатки, будто манекен лежал на мусоре и мусор впечатался в него. Круглая вмятина на бедре с ребристым краем — от бутылочной крышки. На животе — квадратная сетка, решётка, как от вентиляционной решётки или от решётки гриля. На плече — какой-то сложный узор, похожий на отпечаток подошвы. На щеке, на повернутой к стене щеке, — отпечаток чего-то вроде вилки, четыре параллельные бороздки.

Манекен был мокрый. Олег видел, как блестит пластик в свете ночника. Как на ковре вокруг манекена темнеет влажный контур, как вокруг тела, которое вытащили из воды.

Он не помнил, как встал с кровати. Помнил потом только, что стоит над этой штукой и смотрит, и в комнате холодно, так холодно, что изо рта, кажется, идёт пар. И сладкая гниль — от неё. От манекена. Олег наклонился, и запах ударил в лицо, плотный, как тряпка, и он отшатнулся, и его горло сжалось само, и рот наполнился кислой слюной.

Он сглотнул. Сглотнул ещё раз.

Потом сделал то, что делал раньше. Сто раз. Тысячу. То, что руки умели сами, без головы. Взял за ноги.

Пластик был холодный и мокрый, и под пальцами — Олег замер — немного мягкий. Не как пластик. Как резина, которая долго пролежала на солнце и стала податливой. Или как кожа очень старого человека, которая отходит от кости, если надавить. Он надавил чуть сильнее, сам не зная зачем, и под пальцами что-то подалось, промялось, и осталась вмятина, и вмятина не выпрямилась.

Он потащил его к двери.

Манекен волочился по ковру, потом по линолеуму в коридоре, и от него оставался мокрый след, и звук был такой — шшш-шш-шш, — как от мешка с мокрым бельём. Голова на повороте стукнулась о косяк, звук был глухой, не пластиковый, и повернулась, и Олег увидел лицо.

У манекена не было лица. Был овал, гладкий, с намёком на нос, с выпуклостями вместо глаз, как у всех манекенов. Но этот овал был сдавлен с боков, вытянут, как лицо в кривом зеркале. И на месте рта — тонкая трещина, из которой сочилось что-то тёмное.

Олег открыл входную дверь, выволок манекен на площадку. Огляделся — никого. Половина десятого утра, все на работе. На третьем этаже лампочка мигала, и в мигании манекен на площадке то появлялся, то пропадал, то появлялся.

Олег нажал кнопку лифта. Не потому, что ему было тяжело, — он бы стащил и по лестнице, манекен весил немного, удивительно немного для такой штуки. А потому, что он не мог себе представить, как будет тащить его по ступенькам, и как голова будет биться о каждую ступеньку, бум, бум, бум, бум, этим глухим звуком.

Лифт пришёл с пятого. Скрипел тросами всю дорогу, как старый корабль. Створки разъехались — с усилием, рывками, как будто им было больно. Внутри кабина — тесная, на двоих, обшитая деревянными панелями под орех, исцарапанными ключами. Пластиковые кнопки,

оплавленные зажигалками. Зеркало, мутное, в трещинах. Пол линолеумный, протёртый до дыр. Пахло кошачьей мочой и чьими-то духами.

Он затащил манекен внутрь и поставил стоймя — по-другому не помещалось. Манекен встал, как пьяный, прислонившись к стенке. Олег нажал «1». Створки съехались.

Лифт дёрнулся и пошёл вниз. Медленно. Он всегда шёл медленно, а сейчас, казалось, ещё медленнее. Скрип тросов. Лязг на стыках. Свет в кабине — одна лампочка под плафоном, тусклая, с мухами внутри плафона, мёртвыми мухами, которые лежали там годами.

Где-то между вторым и первым лифт качнулся. Чуть-чуть. И манекен, стоявший у стенки, наклонился — медленно, как падает подрубленное дерево, — и лёг Олегу на плечо.

Олег не шевелился.

Плоская голова лежала у него на плече. Холодная, мокрая. Он чувствовал её щекой, сквозь футболку — влагу, которая медленно пропитывала ткань. Запах заполнил кабину. Сладкая гниль, мокрый картон, и ещё — Олег теперь различал — духи. Женские. Дешёвые, цветочные, советские. «Красная Москва» или что-то такое. Слабый запах, на самом дне, под гнилью.

Женские духи.

У него задрожала нижняя челюсть. Он сжал зубы, чтобы не стучали. Лифт полз. Тросы скрипели. Манекен лежал у него на плече, как девушка на танцах, как жена в электричке, когда засыпала, а он не будил.

Лифт встал на первом. Створки разъехались.

Олег вытащил манекен на улицу. Тащил к мусорным контейнерам за углом дома, по асфальту, по газону, и на газоне оставалась примятая мокрая полоса. Контейнеры стояли за сеткой-рабицей — три зелёных, один синий для пластика, который всё равно увозили вместе с остальным. Он поднял крышку ближнего — оттуда пыхнуло мусорным теплом, жужжали мухи, поздние, сентябрьские, жирные, медленные, — и перевалил манекен через край. Тот провалился внутрь с мокрым шлепком. Олег захлопнул крышку.

Отошёл. Постоял.

Руки у него были мокрые и пахли. Он вытер их о штаны. Потом ещё раз. Потом заметил, что вытирает их уже минуту, ладонь о ладонь, о штаны, о бока, и не может остановиться.

Где-то вдали, за гаражами, за заводом, ревел экскаватор. Ровно. Ровно.

Он вернулся домой, помыл пол в коридоре и в комнате. Хлоркой. Потом помылся сам. Долго стоял под душем, под горячим, пока вода не кончилась и не пошла холодная. Потом сидел на кухне и пил чай, не чувствуя вкуса. Потом лёг. Не спал.

Телефон дрожал на тумбочке. Чат. Он не смотрел. Посмотрел.

Тамара 19[11:15]

У меня на балконе коробка. Картонная. Насквозь мокрая. В ней что-то шуршит. Боюсь открывать. Найда воеет

Нина Степановна кв1[11:17]

Тамара, не открывайте! Это может быть что угодно. Возможно, кто-то подбрасывает. Я считаю, надо проверить, у кого есть доступ к общим ключам. Чердак, подвал, электрощитовая

Коля такси[11:40]

ключи от подвала у витька. он туда бутылки прячет

Толя 8[11:42]

Так он ещё у Семёныча в девятой замок менял, когда тот помер. Может у него и от квартир ключи остались

Нина Степановна кв1[11:44]

Вот! Я давно говорила, что этот человек небезопасен. Предлагаю вечером собраться у подъезда, в 19:00. Всех касается. Олег, Аркадий Львович, Ира, отзовитесь, у вас что-нибудь было?

Ира[11:52]

У нас ничего, вроде. Письмо пришло странное на имя прежней жилицы, но это, наверное, ерунда

Аркадий Львович[12:03]

Добрый день. У меня всё в порядке, благодарю. Буду в 19:00.

Олег смотрел на экран. Палец висел над клавиатурой.

Он ничего не написал.

Он заснул под вечер, сам не заметив как. Проспал собрание. Проснулся среди ночи — в комнате темно, на часах 3:12, светятся зелёные цифры. Проснулся оттого, что в комнате было холодно.

Неправильно холодно. Плотно. Снизу.

И сладко пахло.

Он не стал включать свет. Он долго лежал, глядя в потолок, на котором от проезжающих машин иногда проплывали бледные полосы. Он слушал. Тишина. Холодильник на кухне. Капает кран в ванной — он всё забывал его починить. Кап. Кап. Сердце в ушах.

И ещё один звук. Очень тихий. Тише капающего крана. Как будто влажная ткань медленно отлипает от пола.

Олег повернул голову.

На полу у кровати, белое в темноте, лежало оно. На спине. Голова повёрнута к нему. Сплюснутый овал без лица. Вогнутые локти. Тёмный мокрый контур на ковре.

Ближе.

Утром он лежал рядом с кроватью. В метре. А сейчас — Олег видел это так ясно, как будто кто-то начертил линию мелом, — в полуметре. Вытянутая плоская рука лежала у самого края кровати, и кончики пальцев — у манекена были пальцы, пластиковые, слипшиеся — почти касались свисающего края одеяла.

А от двери, через весь коридор, через порог комнаты, по линолеуму и по ковру тянулся мокрый след. Не волок. Не полоса, как когда он его тащил.

Отдельные пятна. С промежутками. Одно, второе, третье.

Как шаги.

* * *

Собрание было назначено на семь, но к семи вышла только Нина Степановна. Она стояла у подъезда, под козырьком, в тёмно-синем плаще и с блокнотом в руках, и смотрела на часы, и лицо у неё было такое, будто она уже заранее знала, что все опоздают, и уже заранее на всех обиделась.

Ира спустилась в пять минут восьмого. Макс задержался на работе, как и обещал, написал: «буду к 9, держись, расскажешь». Ей не хотелось идти. Но не идти было бы хуже — Нина Степановна потом неделю здоровалась бы с ней сквозь зубы.

Вечер был серый, сырой, с низким небом. Фонарь над подъездом горел — вернее, мигал. Он загорался, жужжал, потом гас на секунду, потом снова загорался, и в эту секунду темноты двор становился другим. Глубже. Чужим. Детская площадка с ржавой каруселью. Лавочка с отломанной доской. Гаражи. А за гаражами — вечное, далёкое, ровное: рёв техники на полигоне. Работали теперь и вечером, при прожекторах. Над полигоном стояло жёлтое зарево.

И ветер оттуда. И в ветре — сладкое.

— Ирина, — сказала Нина Степановна вместо «здравствуйте». — Вы одна? А Максим?

— На работе.

— Понятно. — Нина Степановна что-то пометила в блокноте. — Значит, от восемнадцатой вы.

Подтягивались остальные. Гульнара с Рустамом — Гульнара маленькая, быстрая, в спортивном костюме, Рустам большой, молчаливый, курил в сторону. Дядя Толя из восьмой, в трениках и пиджаке поверх майки. Тамара из девятнадцатой — без собаки, сказала, что Найда не

пошла, упёрлась лапами в порог и выла. Коля-таксист, только приехал, от него пахло машиной и шаурмой. Баба Валя из пятой, глуховатая, в платке, держалась за перила крыльца и переспрашивала каждое слово. Двое студентов из десятой — парень и девушка, оба в наушниках, оба смотрели в телефоны.

Света вышла последней из тех, кто вышел. Без Дани. Бледная, в той же куртке, что утром, с теми же синими кругами под глазами, как у Иры, только хуже. Она встала в стороне, обхватив себя руками, и всё время оглядывалась на свои окна, на второй этаж. Окна были тёмные. Только на кухне горела лампочка, и в окне кухни — Ире показалось — что-то мелко мельтешило. Но это, наверное, был отблеск от мигающего фонаря.

— Даня где? — спросила Ира тихо.

— У соседки. У бабы Вали. — Света кивнула на бабу Валю. — То есть... нет. Баба Валя тут. Он у неё дома. С её внучкой. Я его туда не хотела... я его не могу... — Она замолчала и отвернулась.

Аркадий Львович вышел ровно в четверть восьмого. В сером пальто, в шляпе, аккуратный, как всегда. Поздоровался со всеми — по имени, с каждым. Встал у края крыльца, ближе к углу дома. Оттуда, если повернуть голову, были видны мусорные контейнеры.

Он повернул голову.

— Итак, — сказала Нина Степановна громко, постучав ручкой по блокноту. — Раз все собрались. Ситуация следующая. С сегодняшнего утра в нашем подъезде в квартирах появляются посторонние предметы. Это зафиксировано у Светланы, седьмая квартира, — детская игрушка. У Гульнары, вторая, — мужской ботинок. У Тамары, девятнадцатая, — коробка. Ещё у кого?

— У меня в шкафу халат висел, — сказал дядя Толя неуверенно. — Байковый. В горошек. Не мой. Мокрый весь. Я его в ванну бросил.

— Записываю. Ещё?

Молчание. Студенты переглянулись. Девушка сказала, что у них в ванной на полу лежали очки. Старые, роговые, с одним треснутым стеклом и одной оторванной дужкой. И стекло было грязное, как будто в земле.

— А у меня в пальто, — вдруг сказала баба Валя громко, как говорят глухие, — бирка была. Знаешь, такая. Клеёноччатая, на верёвочке. С номером. Как в роддоме на ручку вешают. Я внучке показала, она говорит — бабушка, это не роддом. Это с морга.

Все замолчали.

Фонарь мигнул и погас. Секунда темноты. Ира услышала, как кто-то рядом резко втянул воздух. Потом фонарь зажужжал и загорелся снова, и все стояли на своих местах, и лица у всех в жёлтом свете были серые, как у восковых фигур.

— Бирка... — сказала Нина Степановна. Она не записала. Ручка замерла над блокнотом. Потом она встряхнулась, как собака после воды. — Так. Хорошо. Значит, кто-то проникает в квартиры. Это очевидно. Вопрос — кто. Замки не вскрыты, я спрашивала. Значит, у этого человека есть ключи. У кого в нашем доме есть ключи от чужих квартир?

Все молчали. Все знали, к чему она ведёт.

— У Виктора, — сказала Нина Степановна. — У Виктора из четырнадцатой. Который не соизволил прийти.

— Да он придёт, — сказал Коля. — Он за пивом пошёл, я видел.

— Конечно, за пивом, — сказала Нина Степановна. — Куда же ещё.

— Нина Степановна, — тихо сказала Гульнара. — Ну зачем ему? Ботинки носить? Он же тихий. Он вообще не...

— А зачем люди в наше время делают что угодно? — Нина Степановна повернулась к ней всем телом. — Вы, Гульнара, человек молодой, вы не знаете. А я в этом доме тридцать один год живу. Я знаю, кто чем дышит. Виктор пьёт. Пьющий человек способен на что угодно.

Он менял замки в девятой квартире, когда Семёныч умер. Ключи, между прочим, никто у него не забрал. У него ключи от подвала, у него ключи от электрощитовой. А может, и не только.

— Я в девятую не ходил!

Голос раздался из темноты, со стороны двора. Все обернулись.

Витёк стоял у края фонарного круга, у лавочки, с пакетом, в котором звякало. Худой, в растянутой олимпийке, в тренировочных штанах с вытянутыми коленками. Лицо небритое, отёчное, как будто его кто-то надул и забыл, а глаза маленькие, красные, испуганные. Он был не старый — лет сорок пять, наверное, — но выглядел на все шестьдесят. Он всегда так выглядел, сколько Ира его знала.

— Я в девятую не ходил, — повторил он. — Я замок поменял тогда, ну, когда его вынесли, Семёныча, мне племянник его сказал — поменяй, Вить, а то тут мало ли. Я поменял. Ключ ему отдал, племяннику. Два ключа. Оба отдал. Я не брал себе. Я не ходил. Чего мне там? Там вообще...

Он осёкся.

— Что «там вообще»? — спросила Нина Степановна, сощурившись.

— Ничего. Там плохо. Там и при Семёныче плохо было. Он сам говорил. — Витёк потоптался. Пакет звякнул. — Я ничего не подкидывал. Я и не знаю, чего вы. Мне Коля сказал, что вещи. Какие вещи? У меня ничего нету.

— Ничего нету, — повторила Нина Степановна с выражением. — Удобно.

— Да правда ничего! — Витёк чуть не плакал. — У меня вообще никогда ничего нету!

Кто-то хмыкнул. Студент-парень снял наушник и сказал, что, может, надо вызвать полицию, пусть разбираются, а не устраивать самосуд. Нина Степановна сказала, что полицию она вызовет, когда у неё будут факты, а не слова. Гульнара сказала, что ботинок — это факт. Нина Степановна сказала, что ботинок можно принести с помойки. Тамара сказала, что коробка шевелится, и это тоже факт. Рустам сказал первое за вечер слово — «бред», — и непонятно было, о чём. Дядя Толя начал рассказывать, что в девяностые у них на работе тоже были такие случаи, всё пропадало, а потом оказалось — сторож. Баба Валя переспрашивала. Студентка снимала на телефон. Коля закурил.

Ира стояла и не говорила. Она не рассказала про письмо, она уже написала в чате, и все пропустили мимо. Она не рассказала про то, что увидела утром, после того, как пришла от почтовых ящиков и долго мыла руки на кухне, а потом всё-таки зашла в ванную. Что зеркало в ванной запотело — хотя она не включала горячую воду. Что запотело оно не всё, а только по краям, там, где облезла амальгама, а в середине осталось чистое, как будто кто-то протёр. И что на запотевшем краю, внизу, у раковины, были буквы. Как пишут пальцем на стекле. Кривые, заваливающиеся вправо, как пьяные.

«ДЁМИНА».

Она стёрла их ладонью. Ладонь была мокрая и холодная, и потом весь день, когда Ира подносила руку к лицу, ей казалось, что от неё пахнет ванной.

Она не рассказала. Она представила, как скажет это сейчас, под мигающим фонарём, и Нина Степановна посмотрит на неё поверх очков. Нет.

Ира посмотрела на Аркадия Львовича.

Он не участвовал в споре. Он стоял у края крыльца и смотрел на контейнеры. Неподвижно. Шляпа немного съехала на затылок, и Ира видела его профиль: тонкий нос, очки, сжатые губы. Он смотрел так, как смотрят на воду, когда ждут, что из воды что-то всплывёт.

Ира проследила его взгляд.

Мусорные контейнеры за сеткой-рабицей. Три зелёных, один синий. Фонарь до них почти не доставал, только краем, и в мигании они то появлялись, то пропадали.

Крышка ближнего контейнера была приподнята. Не открыта — приподнята, на ладонь. Как будто изнутри что-то упиралось в неё и держало. Под крышкой была темнота. И из темноты, Ире показалось, медленно стекала по стенке контейнера тёмная струйка.

Она не знала, что Олег утром выбросил туда манекен. Она узнала об этом только потом. Сейчас она видела только приподнятую крышку, и тёмную струйку, и Аркадия Львовича, который смотрел на это и вытирал руки платком — одну, другую, каждый палец.

Фонарь погас.

В темноте — одну секунду, две — Ира услышала, как контейнер тихо, коротко лязгнул. Как будто крышка опустилась. Как будто то, что держало её, ушло.

Фонарь зажужжал и загорелся. Крышка была закрыта.

— ...и я предлагаю, — говорила Нина Степановна, перекрикивая дядю Толю, — дежурство. По очереди. Каждую ночь кто-то один сидит на площадке первого этажа и следит, кто входит, кто выходит. Я составляю график. Виктор, вы первый.

— Я? — Витёк выронил пакет. Бутылки звякнули. — Почему я?

— Потому что если это не вы, вам нечего бояться. А если вы — мы сразу узнаем.

— Нина Степановна, — сказал Аркадий Львович.

Он сказал это негромко, но все замолчали. Он вообще редко говорил на собраниях, и, может, поэтому его слушали. Он повернулся от контейнеров. Снял шляпу. Пробор был ровный, как по линейке.

— Нина Степановна, позвольте. Я думаю, Виктор здесь ни при чём. — Он помолчал. — Я думаю, никто из нас здесь... в этом смысле ни при чём. Не надо дежурств. Надо просто запереть двери. И не выходить ночью. И, — он снова помолчал, подбирая слово, — и не открывать. Если постучат.

— А кто постучит? — спросила Нина Степановна.

Аркадий Львович надел шляпу.

— Не знаю, — сказал он. — Это я так. Простите. Старческое. Доброй ночи всем.

Он пошёл в подъезд. Ира смотрела ему вслед и видела, что он идёт очень прямо, слишком прямо, как идут люди, которые боятся, что если чуть согнутся, то не разогнутся.

После этого собрание как-то сразу распалось. Нина Степановна ещё что-то говорила про график, про участкового, но её уже не слушали, расходились. Витёк собирал выпавшие бутылки, одна разбилась, и он аккуратно, по одному, складывал осколки в пакет, чтобы не порезались дети. Света ушла первой, почти бегом, — к бабе Вале, за Даней.

Олег так и не пришёл. Ира заметила это, только когда поднималась. На третьем этаже, у двенадцатой квартиры, она невольно замедлила шаг. Дверь была закрыта. Из-за двери не доносилось ни звука — ни телевизора, ни шагов. Но на коврике у порога, на старом резиновом коврике с надписью «Welcome», темнело мокрое пятно. Неровное. Как будто кто-то стоял там, мокрый, долго стоял, и ушёл.

Или вошёл.

Лампочка на третьем этаже мигала. В мигании пятно на коврике то было, то не было, то было.

Ира поднялась к себе, заперла дверь на оба замка и на цепочку. Макса ещё не было. Она включила свет во всей квартире, во всех комнатах, даже в ванной — но дверь в ванную не открыла, просто нажала выключатель снаружи и смотрела, как под дверью загорается жёлтая полоска.

Она села на кухне. Открыла форточку — душно. Закрыла — пахло с полигона.

Дом звучал. Цокала когтями Тамарина собака — нет, не цокала. Собака скулила, тонко и непрерывно, за стеной, как плачет ребёнок, которого заперли. Внизу у Витька было тихо. Лифт вздыхал в шахте. Батарея щёлкала.

И ещё что-то. Ира прислушалась.

Далеко. Внизу. Очень тихо, на грани слуха, так, что если не знать, что слушаешь, можно принять за шум в ушах. Сухое. Ровное. Без перепадов.

Через перекрытия, через бетон, через три этажа, из седьмой квартиры, где никого не было, где Света оставила включённым свет на кухне.

Ж-ж-ж-ж-ж.

День второй. Девятая квартира

В 2:40 по зелёным цифрам на микроволновке, которые Ира видела из спальни через открытую дверь кухни, дом ударили.

Она не сразу поняла, что проснулась. Сначала был сон — какой-то вязкий, без картинок, только ощущение, что она лежит на дне чего-то и сверху давит. Потом удар. Потом второй. И она уже сидела в кровати, вцепившись в одеяло, и сердце колотилось так, что подпрыгивала ткань ночной футболки.

Бум.

Бум-бум.

БУМ.

Это было не похоже на стук. Стучат костяшками, вежливо, три раза, и ждут. Это было не похоже даже на то, как стучат пьяные соседи, когда потеряли ключи, — те стучат кулаком, долго, но устало, с паузами, с матом. Это было бешеное. Это был удар всем телом, с разбега, со всего маху, кулаками, ногами, коленями, плечом — как будто кто-то пытался не открыть дверь, а пробить её насквозь, проломиться, выйти, неважно куда, лишь бы выйти. Удары шли сериями: три-четыре быстрых, захлёбывающихся, потом один, страшный, от которого — Ира чувствовала это ладонями на матрасе — вздрагивала кровать. Потом снова серия.

БУМ. Бум-бум-бум-бум. БУМ.

— Твою мать, — сказал Макс в темноте. Он лежал, приподнявшись на локте. — Твою мать, это что?

— Не знаю.

— Это снизу?

Ира прислушалась. Это было трудно, потому что удары заполняли всё. Они шли по перекрытиям, по стенам, по стоякам — в панельном доме звук гуляет как хочет, и иногда кажется, что сосед сверху сверлит у тебя в голове, а на самом деле это через три квартиры вбок. Ира слушала, и ей казалось, что бьют снизу. Потом — что сбоку. Потом — что прямо под их кроватью. Потом — что со всех сторон сразу, будто кто-то колотил во все двери дома одновременно.

— Снизу вроде, — сказала она.

— Витёк, — сказал Макс. — Это Витёк, он нажрался. Я его шас...

Он скинул одеяло.

— Макс. Не надо.

— Чего не надо? Три часа ночи! Мне в семь вставать!

— Макс. — Она поймала его за запястье. Запястье было тёплое, живое, на нём бился пульс. — Пожалуйста. Не ходи.

Он посмотрел на неё. В темноте она не видела его лица, только силуэт против серого окна. Она слышала, как он дышит.

БУМ.

И потом — другой звук. Ира почувствовала, как пальцы Макса под её рукой напряглись. Скрежет.

Он шёл на фоне ударов, тоныше их, выше, и от этого был слышен очень отчётливо. Длинный, медленный, сверху вниз. Как будто по жёсткой ткани, по клеёнке, по дерматину проводили чем-то твёрдым и острым. Ногтями. Десятью ногтями сразу, всеми пальцами, растопыренными, — сверху вниз, с нажимом, с таким нажимом, что ногти должны были ломаться. Скрежет кончался коротким сухим щелчком, как будто что-то и правда сломалось. И начинался снова.

Ира знала этот звук. У них в детстве во дворе была собака, которую хозяева забыли на балконе, когда уехали на дачу. Три дня. Собака скребла балконную дверь. Звук был такой же. Только тот был слабее.

— Ни хрена себе, — сказал Макс шёпотом. И больше не порывался встать.

Они сидели в кровати рядом, плечом к плечу, и слушали.

Удары не прекращались. Минута. Пять. Десять. Ира смотрела на зелёные цифры: 2:52. 2:58. 3:04. У человека не может хватить сил бить так долго. У человека должны разбиться кулаки, вылететь плечо, сломаться пальцы на ногах. Человек должен устать, начать задыхаться, сделать паузу. Удары не уставали. Они шли с той же силой, с тем же бешенством, сериями, как будто тот, кто бил, не чувствовал боли. Или чувствовал, но ему было уже всё равно.

За стеной, в девятнадцатой, выла Тамарина собака. Не скулила, как вечером, — выла, в голос, по-волчьи, с переливами, и где-то посередине вой срывался на визг.

Телефон на тумбочке засветился. Ещё раз. Ещё.

Дом Заводская 14 (1 подъезд)

Коля такси[02:51]

это кто долбит???

Толя 8[02:52]

Витёк сука

Тамара 19[02:52]

Найда с ума сходит. Кто это??? Вызовите полицию ктонибудь

Нина Степановна кв1[02:54]

Я же говорила. Я ГОВОРИЛА. Звоню 112

Гульнара кв2[02:55]

у нас тоже слышно как будто над головой

Коля такси[02:58]

я выглянул в глазок на 3 этаже никого на площадке нет. вообще никого. а долбят как будто рядом

Толя 8[02:59]

Значит изнутри квартиры долбит. Витёк у себя бесится. Белочка

Макс 18[03:01]

Витёк над нами живёт? Под нами. Звук не оттуда вообще

Нина Степановна кв1[03:03]

112 занято. Что значит занято у 112?

Света 7[03:10]

у меня дети спят то есть Даня спит. Как он спит под это. Он улыбается во сне

Ира[03:12]

Не выходите никто. Аркадий Львович говорил не открывать

Нина Степановна кв1[03:14]

Аркадий Львович много чего говорит. Аркадий Львович, вы слышите?? Это ваш сосед по этажу. Сходите к нему.

Нина Степановна кв1[03:20]

Аркадий Львович!!!

Аркадий Львович не ответил.

Удары продолжались до 3:40. Ира смотрела на цифры. В 3:39 был последний — самый сильный, такой, что звякнула люстра, и в кухне в сушилке тонко зазвенела тарелка о тарелку.

Потом стало тихо.

Ира ждала. Она знала, что сейчас начнётся снова. После каждой серии была пауза, секунды три-четыре, и потом снова. Она считала. Три. Четыре. Пять. Десять.

Тишина.

Тишина была хуже ударов. Ира поняла это не сразу, а когда тишина продлилась уже минуту. Удары были понятные — кто-то бьёт, кто-то злится, кто-то хочет выйти. А тишина была непонятная. Тишина была как вдох перед криком. Тамарина собака перестала выть — не постепенно, а сразу, будто ей зажали пасть. Холодильник на кухне выключился, и его гул, к которому ухо давно привыкло, исчез. Лифт не вздыхал. Батарея не щёлкала. Не капало, не журчало, не шуршало. Дом стоял, как зверь, который замер в высокой траве и слушает.

Макс сидел рядом, и Ира слышала, как у него в горле, когда он сглатывает, щёлкает.

Она смотрела в тёмный проём двери спальни. За ним — прихожая. За прихожей — входная дверь. За входной дверью — площадка, лестница, четыре пролёта вниз, ещё одна площадка, ещё одна дверь.

3:47. 3:52. 3:58.

Тишина стояла, как вода.

И в этой тишине, в 4:03, когда Ира уже начала думать, что всё, что кончилось, что можно лечь, — раздался один звук.

Не удар. Скрежет.

Один. Медленный. Очень медленный, такой медленный, что его можно было слушать, как музыку, — каждую долю. Сверху вниз. Ногти по дерматину. Ира не видела, но видела: десять пальцев, растопыренные, приложены к двери на уровне лица, и медленно, медленно, с нажимом, с ленивым удовольствием, ползут вниз. Долго. Дверь же не такая длинная, думала Ира. Дверь же два метра. Как можно так долго вести по двери в два метра.

Скрежет шёл секунд двадцать. Потом оборвался тем самым сухим щелчком.

И больше ничего.

Они не спали до утра. Сидели, прижавшись. Макс один раз встал, сходил на кухню за водой, и Ира слушала, как он идёт, как наливает воду из фильтра, как пьёт. На кухне он пробыл дольше, чем нужно, чтобы выпить воду. Когда вернулся, сказал:

— Холодильник выключился. Свет есть, а он не работает.

Он лёг. Через минуту, в 4:20, холодильник на кухне вздрогнул и загудел снова. И одновременно с ним — Ира могла поклясться — загудело что-то ещё. Ниже. Глубже. Очень тихо, на самом дне слуха, как будто в стенах, в бетоне, в трубах заработал далёкий мотор.

Она хотела спросить Макса, слышит ли он. Не спросила. Боялась, что он скажет «да».

* * *

Утром на четвёртом этаже, у двери четырнадцатой квартиры, собралась делегация.

Нина Степановна — в халате, с бигудями под косынкой, с лицом человека, который не спал всю ночь и теперь намерен кого-нибудь за это наказать. Макс — злой, невыспавшийся, в джинсах и толстовке, с ключами от машины в кулаке, будто собирался кого-то этими ключами бить. Дядя Толя. Коля. Ира стояла чуть позади, на ступеньках, держась за перила. Перила были холодные и липкие, и Ира не помнила, были ли они липкие раньше.

Нина Степановна позвонила. Звонок у Витька не работал, она нажимала, а за дверью было тихо. Тогда она постучала. Кулаком, громко.

— Виктор! Откройте! Мы знаем, что вы дома!

За дверью зашаркало. Что-то упало, покатилося — бутылка. Щёлкнул замок, потом второй, звякнула цепочка. Дверь приоткрылась на ширину цепочки.

В щели показалось лицо Витька. Опухшее больше обычного, с красными глазами, с отпечатком подушки на щеке. Он был в майке-алкоголичке и в тех же трениках, что вчера. Из квартиры пахло перегаром, жареным луком и старыми носками.

— Чего? — сказал он хрипло.

— Чего?! — Нина Степановна задыхнулась. — Вы ещё спрашиваете «чего»? Вы всю ночь, весь дом, весь подъезд...

— Я? — Витёк моргнул. — Я ничего. Я спал.

— Спал он! — Макс шагнул вперёд. — Ты, блин, с трёх до четырёх долбил так, что у нас люстра звенела!

— Я не долбил. — Витёк смотрел на них растерянно. Потом что-то в его лице сдвинулось, и он снял цепочку, открыл дверь шире. — Вы чего, слышали тоже? Я думал, это у меня. Я думал, меня кроет. Я лежал и думал — всё, Витёк, приехали, допился. Белочка. Мне знакомый рассказывал, у него тоже начиналось со стука.

— Не прикидывайтесь, — сказала Нина Степановна.

— Да не прикидываюсь я! — Голос у Витька сорвался. — Я сам хотел к вам идти! Утром! Жаловаться! Я думал, это сверху, у Аркадь Львовича, может, ремонт, может, плохо ему, может, упал. Я лежал и думал — пойти, не пойти. А там бьёт и бьёт, бьёт и бьёт. И я подушку на голову. И потом это... ногтями. — Он передёрнулся, всем телом, как от холода. — Ногтями. Я когда это услышал, я под одеяло. С головой. И лежал. И потом заснул, не знаю как. — Он посмотрел на Нину Степановну с мольбой. — Нина Степановна, я вам богом клянусь. Я спал.

Все молчали. Макс опустил руку с ключами.

Ира смотрела на Витька и понимала, что он не врёт. Это было видно по рукам. Руки у него тряслись, но не так, как трясутся с похмелья, — мелко, привычно. Они ходили ходуном, крупно, он прятал их под мышки, и они всё равно ходили. И костяшки на пальцах были целые. Без ссадин. Без крови. Человек, который час бил кулаками в дверь, не может иметь таких костяшек. Даже железный человек.

— Значит, это не он, — сказал Коля, тоже глядя на руки.

— Тогда кто? — спросил дядя Толя.

Никто не ответил. Нина Степановна стояла, поджав губы, и Ира видела, как у неё под косынкой, под бигудями, дрожит голова, совсем чуть-чуть, как у старых людей дрожит, когда они очень стараются не показать, что им страшно.

И тут снизу, с третьего этажа, потянуло.

Сначала Ира не поняла, что это. Просто воздух на лестнице изменился. Стал плотнее. Теплее. Как будто внизу открыли дверь бани. А потом запах дошёл до носа, и Ира схватилась за перила обеими руками, потому что её качнуло.

Сладкая гниль. Не та, что в ванной, — та была тенью, намёком. Эта была сама. Целиком. Густая, жирная, тёплая, мокрая. В ней был прокисший мусор, и мокрый картон, и что-то, что Ира не могла назвать, но тело её назвало само: желудок поднялся к горлу, рот наполнился слюной, в глазах выступили слёзы. Это был запах, которого не должно быть там, где живут люди. Запах того, что прячут, закапывают, увозят, запах того, что лежит в чёрном пакете на обочине и вокруг гудят мухи.

И звук.

Гул. Ира узнала его — тот, ночной, из стен. Только теперь он был не на дне слуха. Он был здесь, внизу, на лестнице, громкий, плотный, тарахтящий. Мотор. Работающий мотор, старый, с перебоями, с металлическим лязгом на каждом обороте, с подвыванием.

— Это что? — спросил Макс. — Это откуда?

Все повернулись к лестнице вниз.

* * *

Дверь девятой квартиры была распахнута настежь.

Ира увидела это, когда они спустились на полпролёта, на площадку у мусоропровода. Отсюда, сверху, площадка третьего этажа была как сцена: четыре двери, мигающая лампочка, и одна дверь — открыта.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.